**М. Горький. «Детство»**

**Глава VIII**

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощёная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пёстро окрашенных домиков.

Новый дом был нарядней, милей прежнего; его фасад покрашен тёплой и спокойной тёмно-малиновой краской; на нём ярко светились голубые ставни трёх окон и одинарная решётчатая ставня чердачного окна; крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош сад, небольшой, но густой, и приятно запутанный; в одном углу его стояла маленькая, точно игрушка, баня; в другом была большая довольно глубокая яма; она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова, справа - постройки Бетленга; в глубине он соприкасался. с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол; её домик, осевший в землю, тёмный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковырянное глубокими оврагами, с тяжёлой синей тучей леса вдали; по полю целый день двигались, бегали солдаты; в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людями: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню:

Одна любишь - не рада,

Искать другую надо!

Умей её найти.

И ждёт тебя награда,

На верном сём пути!

О-о, са-ладкая нагр-рада-а!

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

- Вух, вух-вух-хх...

В тёплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков: маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Стёпа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди,- и невесёлый, длинный татарин Валей, денщик. Всё это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

**Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник Хорошее Дело**. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна - в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в чёрной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

- Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

- Лёнька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, **толстыми книгами** незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. **С утра до вечера** он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрёпанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, тёмную фигуру; видел, как он **пишет что-то в растрёпанной тетради**, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; **колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.**

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нём.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны - в пятнах и заплатах, на босых ногах - стоптанные туфли. Бедные - не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное - со стороны деда.

**Никто в доме не любил Хорошее Дело**; все говорили о нём посмеиваясь; весёлая жена военного звала его "меловой нос", дядя Пётр - **аптекарем и колдуном, дед - чернокнижником, фармазоном**.

- Чего он делает? - спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

- Не твоё дело; молчи знай...

Однажды, собравшись, с духом, я подошёл к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

- Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

- Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, ещё более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

- Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

- Здешний внук...

- Ага, да,- сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счёл возможным пояснить ему:

- Я не Каширин, а - ПешкОв..

- ПЕшков? - неверно повторил он.- Хорошее дело.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу сказал:

- Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из тёмной бутылки,- в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

- Скверно пахнет?

- Да!

- То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

"Чем хвастается!" - подумалось мне, и я строго сказал:

- Если скверно, так уж не хорошо...

- Ну? - воскликнул он, подмигивая.- Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

- В козны?

- В козны, да?

- Играю.

- Хочешь - налиток сделаю? Хорошая битка будет!

- Хочу. - Неси давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в неё одним глазом, подошел и сказал:

- Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне,- хорошо?

Это меня прежестоко обидело.

- Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад; там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

- Ну-ко, подстригай малину,- сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

- Хорошее Дело чего строит?

- Горницу портит,- сердито ответил он.- Пол прожёг, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему - съезжал бы!

- Так и надо,- согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я - поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика; часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже весёлая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Стёпа играл с татарином в карты; Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

- Аш-шайтан!

Дядя Пётр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье "семечки" в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

- Пожалуйте-ко милостью, покушайте! - ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою тёмную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишнёвую наливку в бутылке, весёлая барыня - орехи и конфетти. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуёмный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену, - в кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнём маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

- Мне сверху надо говорить,- сверху-то лучше!

Я поместился у ног её, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала ***хорошую историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника***; мерно лились сочные, веские слова:

*Жил-был злой воевода Гордион,*

*Чёрная душа, совесть каменная;*

*Правду он гнал, людей истязал,*

*Жил во зле, словно сыч в дупле.*

*Пуще же всего невзлюбил Гордион*

*Старца Мирона-отшельника,*

*Тихого правды защитника,*

*Миру добродея бесстрашного.*

*Кличет воевода верного слугу,*

*Храброго Иванушку-воина:*

*- Подь-ка, Иванко, убей старика,*

*Старчища Мирона кичливого!*

*Подь да сруби ему голову,*

*Подхвати её за сиву бороду,*

*Принеси мне, я собак прокормлю!*

*Пошёл Иван, послушался.*

*Идет Иван, горько думает:*

*"Не сам иду - нужда ведёт!*

*Знать, такая мне доля от господа"*

*Спрятал вострый меч Иван под полу,*

*Пришёл, поклонился отшельнику:*

*- Всё ли ты здоров, честной старичок?*

*Как тебя, старца, господь милует? -*

*Тут прозорливец усмехается,*

*Мудрыми устами говорит ему:*

*- Полно-ка, Иванушко, правду-то скрывать!*

*Господу богу - всё ведомо.*

*Злое и доброе - в его руке!*

*Знаю ведь, пошто ты пришел ко мне! -*

*Стыдно Иванке пред отшельником,*

*А и боязно Ивану ослушаться.*

*Вынул он меч из кожаных ножон,*

*Вытер железо широкой полой.*

*- Я было, Мироне, хотел тебя убить*

*Так, чтобы ты и меча не видал.*

*Ну, а теперь - молись господу,*

*Молись ты ему в останний раз*

*За се, за меня, за весь род людской,*

*А после я тебе срублю голову!.. -*

*Стал на коленки старец Мирон,*

*Встал он тихонько под дубок молодой,*

*Дуб перед ним преклоняется.*

*Старец говорит, улыбаючись:*

*- Ой, Иван, гляди - долго ждать тебе!*

*Велика молитва за весь род людской!*

*Лучше бы сразу убить меня,*

*Чтобы тебе лишнего не маяться! -*

*Тут Иван сердито прихмурился,*

*Тут он глупенько похвастался:*

*- Нет, уж коли сказано - так сказано!*

*Ты знай молись, я хоть век подожду! -*

*Молится отшельник до вечера,*

*С вечера он молится до утренней зари,*

*С утренней зари он вплоть до ночи,*

*С лета он молится опять до весны.*

*Молится Мироне год за годом,*

*Дуб-от молодой стал до облака,*

*С жёлудя его густо лес пошёл,*

*А святой молитве всё нет конца!*

*Так они по сей день и держатся:*

*Старче всё тихонько богу плачется,*

*просит у бога людям помощи,*

*У преславной богородицы - радости,*

*А Иван-от воин стоит около,*

*Меч его давно в пыль рассыпался,*

*Кованы доспехи съела ржавчина,*

*Добрая одёжа поистлела вся.*

*Зиму и лето гол стоит Иван,*

*Зной его сушит - не высушит,*

*Гнус ему кровь точит - не выточит,*

*Волки, медведи - не трогают,*

*Вьюги да морозы - не для него.*

*Сам-от он не в силе с места двинуться,*

*Ни руки поднять и ни слова сказать,-*

*Это, вишь, ему в наказанье дано:*

*Злого бы приказу не слушался,*

*За чужую совесть не прятался!*

*А молитва старца за нас, грешников,*

*И по сей добрый час течёт ко господу,*

*Яко светлая река в окиян-море!*

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и всё вытирал быстрым движением ладони лоб и щёки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

- Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

**- Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это - страшно верное, наше...**

Теперь ясно было видно, что **он плачет,-** глаза его были полны слёз; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал но кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и всё не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Пётр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

- Запишите, что же, греха в этом нету; я и ещё много знаю эдакого...

- Нет, именно это! **Это - страшно русское**,- возбуждённо выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

**- Нельзя жить чужой совестью, да, да!**

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушёл, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там.

Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:

- Рассердился будто?

- Не,- ответил дядя Петр.- Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр, не торопясь, говорил:

- Господа все такие - капризники!

Валей угрюмо буркнул:

- Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Пётр тянул:

- До слёз дошел. Видно - бывало, щука клевала, а ноне и плотва - едва...

Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его,- так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришёл после обеда - тихий, измятый, явно сконфуженный.

- Вчера я шумел,- сказал он бабушке виновато, словно маленький.- Вы не сердитесь?

- На что же?

- А вот, что я вмешался, говорил?

- Вы никого не обидели...

Я чувствовал, **что бабушка боится его**, не смотрит в лицо ему и говорит необычно - тихо слишком.

Он подошёл вплоть к ней н сказал удивительно просто:

**- Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь,- и вдруг - вскипит в душе, прорвёт... Готов камню говорить, дереву...**

Бабушка отодвинулась от него.

- А вы бы женились...

- Э! - воскликнул он, сморщившись, и ушёл, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго сказала мне:

**- Ты, гляди, не очень вертись около него; бог его знает, какой он такой...**

**А меня снова потянуло к нему.**

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал "страшно один"; в этих словах было что-то понятное мне**, тронувшее меня за сердце, и я пошёл за ним.**

Заглянул со двора в окно его комнаты,- она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи,- такие же **ненужные и странные, как их хозяин**. Я пошёл в сад и там, в яме, увидал его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землёю, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, ещё более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

- За мной?

- Нет.

- А что же?

- Так.

Он снял очки, протёр их платком в красных и черных пятнах и сказал:

- Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

- Сиди... Будем сидеть и молчать- ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

- Да.

- Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда всё вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Всё немотно и тихо; каждый звук - шорох птицы, шелест упавшего листа - кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине - она обняла всю землю и наполняет грудь. *В такие минуты родятся особенно чистые, лёгкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звёзды, обжигая душу печалью о чём-то, ласкают её, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создаётся её лицо.*

*Прижимаясь к тёплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь чёрные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечёток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Всё было хорошо и как-то особенно - не по-всегдашнему - понятно и близко*.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

- Славно, брат? То-то? А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

- Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

- Хороша у тебя бабушка,- о, какая земля!

Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

*Это ему в наказанье дано:*

*Злого бы приказа не слушался,*

*За чужую совесть не прятался!..*

Ты, брат, запомни это, очень!

И, поталкивая меня вперёд, спросил:

- Ты писать умеешь?

- Нет.

- Научись. **А научишься - записывай, что бабушка рассказывает,- это, брат, очень годится...**

**Мы подружились**. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, куёт железные пластины на маленькой наковальне лёгким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильником, наждаком, и тонкой, как нитка, пилою... И всё взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

- О, роза Сарона...

- Это чего ты делаешь?

- Одну штуку, брат...

- Какую?

- А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял...

- Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

- Дедушка? Мм... Ну, это он пустяки говорит! Деньги, брат,- ерунда...

- А чем за хлеб платить?

- Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

- Видишь? И за говядину тоже...

- И за говядину...

Он тихонько удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутёнка, и говорит:

- Никак не могу я спорить с тобой,- забиваешь ты, брат, меня: давай лучше помолчим...

*Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупо, но всегда какими-****то нужными словами****; чаще же,* ***желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.***

Ничего особенного я не вижу на дворе, **но от этих толчков локтём и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается**. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на своё отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его,- Хорошее Дело говорит тихонько:

- Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

- Важен генерал, а не очень умный...

Идёт неуклюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч,- медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает её кривыми пальцами.

- Точно медаль получил, любуется...

**Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою**, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

- Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

**Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:**

- Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

**И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы,- он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами**:

- Врёшь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

- Ну, врешь, брат...

- А почему ты знаешь?

- Уж я, брат, вижу...

Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика,- свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила вёдра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:

- Беги прочь!

Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.

Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:

- Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!

Потрясённый виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:

- Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо,- понимаешь? Все!

Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.

- Ты, брат, на этих случаях не останавливайся,- это нехорошо запоминать! - сказал он.

**Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь**. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

**- Это - ерунда; такая сила - не сила! Настоящая сила - в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней - понял?**

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и - легко победил Клюшникова. Это ещё более подняло мое внимание к словам нахлебника.

**- Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно - уметь взять!**

**Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова,- именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное;** ведь не требовалось никакого особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка весёлой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я её бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал её не бояться человека.

- У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идёт ко мне,- объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

- Пошто ты торчишь у него? - сердито спрашивала бабушка.- Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

**А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.**

- Бабушка тебя боится, она говорит - чернокнижник ты, **а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный...**

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

- Я, брат, вижу уж! - тихонько говорил он.- Это, брат, грустно, а?

- Да!

- Грустно, брат...

Наконец его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

- Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

- Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

- Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

- Это кто сказал?

- Дедушка...

- Врёт он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

- Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

- Послушай-ко,- почти шёпотом говорил он, улыбаясь,- ты помнишь, я тебе сказал - не ходи ко мне? Я кивнул головой.

- Обиделся ты на меня, да?

- Да...

- А я, брат, не хотел тебя обидеть; **я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя,- так? Было так?** Ты понял, почему я сказал это?

**Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда, понял его; я так и сказал:**

- Это я давно понял!

- Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

- Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

- **Чужой - понимаешь? Вот за это самое. Не такой...**

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

- Не сердись,- повторил он и шёпотом, на ухо, добавил: - Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слёзы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колёсами кочки мёрзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

- Уйди! - кричала она, натыкаясь на меня.

- Вы зачем прогнали его?

- А ты поговори!

- Дураки вы все,- сказал я.

Она стала шлёпать меня мокрой тряпкой, крича:

- Да ты ошалел, пострел!

- Не ты, а все другие дураки,- поправился я, но это её не успокоило.

За ужином дед говорил:

- Ну, слава богу! А то, бывало, как увижу его,- нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

**Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране,- лучших людей её...**